

5 рассказов

*Григорий
Стариковский*



КЕВИН

По вечерам он давил муравьев. Размазывал ступней по линолеуму — аккуратно так, чтобы сплюснутые тельца не прилипали к носкам. Или кропил их специальным раствором, пахнувшим апельсиновой цедрой. Взбрызнет и смотрит, как муравей мечется из стороны в сторону, пока не умрет. Мать возвращалась с работы, включала пылесос. Мертвые муравьи исчезали в гофрированном хоботе.

Он подходил к монитору, проверял список. Список постепенно таял. Это напоминало ему «вышибалочку», игру из детства, когда все меньше остается игроков, а выбывшие сидят на скамейках и ждут... Школу он заканчивал через месяц. Подружки у него не было. Появиться на выпускном в одиночку было бы несолидно. Лучше, если с девушкой. Он разглядывал себя в зеркале. Расчесывал соломенные волосы.

Подождав неделю, решил. Выбрал оставшихся трех из списка. В кабинете завуча взял приглашительные билеты. Пошел в цветочный: купил розы, тюльпаны и подсолнухи. *Если не согласится одна, может, другая пойдет. Если не другая, то третья.*

Оставил два букета в машине. Нашел Одри на задворках школы. Она курила. Что-то азиатское мелькнуло в её взгляде. Змеиное что-то.

— *Привет, Одри! Вот, хочу пригласить тебя... Буду рад, если...*

Оробел. Замялся. Прибавил:

— *Хотя, конечно, если ты с кем-нибудь другим собралась идти, скажи... Не буду мешать. Цветы принес.*

Несколько секунд Одри разглядывала его, как будто смотрела на дерево или на птицу.

— *Спасибо, Кевин. Я не против.*

Поблагодарила за подсолнухи — её любимые цветы, напоминают о Франции.

Он снова сказал — на этот раз гораздо медленнее:

— *Билеты у меня есть. Позвоню тебе перед...*

Не договорил. Она кивнула. Кевин прибежал домой и попросил мать как следует вычистить синий костюм.

Настал день выпускного. Лимузины останавливались возле парадного. Пары — выпускники под руку с девицами — входили в отель. Девицы — в вечерних платьях. Волосы уложены. Некоторых Кевин не узнал. Одри тоже была в вечернем платье.

Они подошли к столику, на котором лежали карточки с именами выпускников. Кевин отыскал свою. Встали в очередь к фотографу.

Они снимались на фоне экрана с нарисованными пальмами. Полминуты улыбались в камеру, прижимаясь плечами. Фотограф сделал знак, и они уступили место следующей паре.

Их повели в большой круглый зал. По залу бегали официанты в малиновых пиджаках. Одни разносили бокалы с безалкогольным пуншем, другие — пирожки с говядиной на блестящих подносах с вензелем отеля. В центре зала находился стол с угощением: мексиканские чипсы и острый соус в блюдечках. Кевин поднес бокал к губам. Отпил немного. Взял пирожок. Откусил. Положил на тарелку. Салфеткой отер пот со лба. Пододвинул Одри тарелку с чипсами. Она отказалась. Она вообще ничего не ела.

Главным событием вечера были танцы — козлиный притоп впритирку. Диджей запускал несколько песен подряд. Выпускники отплясывали, сплотившись в толпу. Потом все рассаживались за столы и ели макароны. Снова танцевали. Парни хватали своих визави и терлись о них сзади и спереди. Получалось совсем грязно. Дежурные учителя отворачивались.

Кевин повел Одри на площадку. Пристроились сбоку, на черной линии, отделявшей квадрат паркета, отведенный для танцев, от остального зала. Кевин никогда до этого не танцевал. Его движения были беспорядочны и жалки. Он снял пиджак, освободил шею от галстука. Через минуту взмок.

Одри смотрела себе под ноги, как будто боялась оступиться. Кевину захотелось, чтобы она взглянула на него, сказала что-нибудь. Она вела себя так, как будто он где-то далеко, а не рядом с ней. *Пусть хоть посмотрит на меня*, — подумал он, — *презирает пусть — за козлиный запах, за то, что я — такое вот нелепое существо.*

Она не поднимала глаз, смотрела в пол. Полоса изоленты отделяла танцующих от жующих. Он взял её за руку:

— *Скажи что-нибудь.*

Она взглянула на него.

— *Зачем?*

Он смутился. Они прошли к столу.

— *Одри, почему ты все время молчишь?*

— *Я не люблю говорить*, — ответила она.

Кевин пододвинул к себе тарелку. Набросился на макароны, как будто сильно проголодался. Подхватывал макароны вилкой. Приоткрыв рот, на вдохе всасывал. Нервно разжевывал. Салфеткой отирал с губ следы томатного соуса.

Когда все закончилось, они вышли на улицу. Он провожал её до стоянки такси. Она молчала. Пройти оставалось метров двести. Из подворотни выскользнули трое — высокий негр лет тридцати и двое латиносов, помладше. Негр ослабил:

— *Эй, парень, двадцатки не найдется?*

Кевин нервно выудил купюру из брючного кармана. Протянул негру. Тот скомкал её в своей огромной пятерне. Уходить эти трое не собирались. Латиносы смотрели на вечернее платье Одри — шею, голые плечи, вырез на груди — и цокали языками. Негр хохотнул:

— *Да не бойся ты, парень! Думаешь, мы тут все — насильники, убийцы? Расслабься, перерыв у нас сегодня. Живи, парень.*

Латиносы рассмеялись тонким смехом.

— *Слово честное, не обидим. Вот, руку даю.*

Кевин протянул хлипкую ладонь навстречу.

— *Теперь пусть твоя подружка пожмет.*

Одри не шевелилась. Кевин толкнул её:

— *Пожми руку и пойдем.*

Одри посмотрела на негра. Её трясло. Она закричала:

— *Как же вы мне все надоели, твари!*

Повернулась и пошла назад, к отелю. Кевин подумал, что сейчас они побегут за ней, догонят. Начал оправдываться. Негр оскалил лошадиные зубы:

— *С норовом у тебя девчонка... Что ж ты, парень, её не воспитываешь?*

Кивнул своим дружкам, и они скрылись в подворотне.

Кевин побежал в отель. В баре сидели учителя и пили виски. Какие-то люди в комбинезонах смотрели по телевизору канал «Охотник»: на экране мужик в камуфляже убивал слона... Танцевальный зал закрыли. Уборщицы мыли полы в коридоре. Он вышел из отеля. Спросил забудыгу-ирландца, не видел ли тот девицу в вечернем платье. Ирландец промычал несколько пьяненьких слов. Кевин побежал на соседнюю улицу, оттуда — в скверик. Одри нигде не было.

ДЯДЯ ГАРРИ

У Кевина был дядя. Дядя Гарри. Нечесанный, рыжий, созвездие родинок на правой щеке. Сколько ему было лет, не знал никто, даже отец Кевина, сводный брат Гарри.

Отец Кевина торговал фирменными перьевыми ручками. Много работал. От работы, командировок уставал. Заботу о дяде Гарри переложил на сына. Несколько месяцев назад Кевин получил водительские права.

Шефство над дядей Гарри сводилось к периодическим названиваниям, покупке продуктов, регулярным подвозам — на прием к врачу или ещё куда-нибудь. Своей машины у Гарри не было. Передвигался пешком или на местном автобусе. Велосипед, подаренный в день рождения, Гарри продал. Дяде вообще много чего дарили, но все подарки попадали в чужие руки. Когда гости уходили или когда Гарри возвращался домой из гостей, он выносил на улицу раскладной стол. Начинал торговлю. Покупатели, они же соседи по жилкомплексу, покупали дядин товар задешево.

Все его помыслы сводились к одному: как бы раздобыть побольше денег. Тянуть рабочую лямку он не хотел. Получал небольшое пособие по инвалидности. Дяде везде мерещились возможные источники дохода. Идеи обогащения плодились в его больном мозгу, как мышцы. Такие замыслы, какие другому не приснятся даже в дерзком сне.

В прошлом году на Хэллоуин Гарри облачился в костюм Вини-Пуха. Ходил по домам. Собирал сладкое подаяние. Стучал в дверь. Когда на пороге кто-нибудь появлялся, Гарри наспех проговаривал виннипуховы стишки. В ответ ему улыбались и наполняли дядину корзину сладостями.

На следующий день, в воскресенье, Гарри позвонил Кевину. Когда Кевин подъехал к дядиному дому, Гарри стоял возле подъезда, прислонясь к кирпичному ограждению. В руках он держал сумку, набитую конфетно-шоколадной снедью.

— *Во, видел?* — похвастался дядя. Гарри спешил в торговый центр.

В шумном помещении, снаружи похожем на консервную банку, щелкали, гудели, верещали игровые автоматы. Дядя Гарри подошел к мальчику лет шести:

— *Эй, парень, купи конфетки. Отдаю каждую за 25 центов. На вот, попробуй.*

Гарри схватил ребенка за плечи. Тот извивался, пытаясь высвободиться. Одной рукой придерживая мальчика, Гарри развернул обертку. Разжав ребенку челюсти, втокнул мятную подушечку в детский ротик. Мальчик завыл. Дядя потряс его за плечи. Крикнул в самое ухо:

— *Отдам за жетоны. Четыре конфеты — жетон.*

Гарри высыпал содержимое сумки на ковролин.

Приехали полицейские. Дядю забрали в участок. Молодой коп сказал Кевину, что эту ночь Гарри проведет за решеткой, а утром предстанет перед судьей.

На следующий день Кевин в школу не пошел. Проспал до десяти часов, позавтракал и поехал в суд. В зале суда окон не было. Электрический свет лениво стекал по деревянным панелям. Люди сидели вплотную, много людей. В основном нарушители правил дорожного движения: одни проехали на красный, другие не пристегнулись. Поодиночке они подходили к высокой кафедре-пюпитру. Признавали вину. Соглашались заплатить штраф. Просили об отсрочке.

Потом в зале появилась маленькая японка. Тонкие, почти прозрачные руки схвачены в запястьях блестящими наручниками. Судья обратился к ней и спросил, где она проживает.

— *В бомбоубежище.*

При этом назвала адрес обыкновенной квартиры в соседнем девелопменте. А вот машина заменяет ей дом — спальню, кухню, столовую.

— *И вообще, моё отечество,* — сказала она несколько высокопарно, — *это кабина «Понтиака».*

Многие засмеялись. Кевину было жалко эту сумасшедшую, но он тоже улыбнулся.

Молодой вихлястый прокурор пританцовывал. После каждой реплики оглядывался. Как будто ждал поддержки зала.

— *Обвиняемая угрожала соседям расправой. Не вызывает сомнений, что она представляет собой угрозу для общества. Да вы посмотрите на неё, она же сумасшедшая.*

Приплясывая, снова оглянулся. Кевину показалось, что прокурор ему подмигнул.

Потом ввели дядю Гарри, тоже в наручниках. Футболка выползла из брюк. Задралась, оголив часть спины. Кевин увидел наколку — меланхолический хряк смотрит на ломтик бекона. Над хряком поднимается облачко, в которое, как в комиксах, вписана фраза: «*Неужели это ты, Фил?*»

Прокурор зачитал обвинение. Гарри сначала не слушал. Склонив голову набок, разглядывал потолок. Когда обвинитель закончил чтение, Гарри нахмурился и впился в него глазами.

— *Вы согласны с пунктами обвинения?* — спросил судья.

— *В чем, собственно, дело?* — поинтересовался дядя.

— *Дело, собственно, в том,* — неторопливо объяснил судья, постукивая пальцем по столешнице, — *дело в том, что вы обвиняетесь в нанесении телесных повреждений ребенку, а также — слушайте внимательно — в домогательствах сексуального характера.*

— *Кто, я?* — ошалело крикнул Гарри.

— *Ну не я же,* — парировал судья.

Прокурор прыснул. За спиной у Кевина кто-то рассмеялся.

Дядя Гарри вопил, разбрызгивая слюни:

— *Я — домогался? Да я вообще детей на дух не выношу! Сторговаться хотел. Конфеты отдать за жетоны.*

— *Обвиняемый, успокойтесь!* — судья повысил голос. — *Снимите с него наручники. Будьте любезны, распишитесь под обвинительным актом.*

Запястья высвободили. Один из охранников подал дяде ручку и положил отпечатанный документ на пюпитр.

Дядя бросил ручку на пол, повернулся к охраннику и толкнул его. Тот потерял равновесие. На лету вмазался в своего напарника. Через весь зал Гарри рванулся к выходу. Вцепился в дверную ручку. Хотел выбежать из зала, но передумал. Понесся галопом по кругу, приподняв руки ладонями вверх, сотрясая воздух молчанием. Кевин видел, как один из охранников взялся за кобуру. Прокурор помертвел лицом. Охранник расстегнул кобуру. Снял пистолет с предохранителя. Крикнул:

— *Стой! Буду стрелять!*

Дядя Гарри подбежал к боковой, служебной двери и ударился головой о дверное стекло. Закачался, упал на малиновый коврик. Прокурор ожил. Охранники набросились на дядю. Сцепили запястья наручниками. Уволокли его через служебный вход. Судья сказал, что обвинение будет предъявлено Гарри через неделю.

— *А пока,* — он кивнул Кевину, — *найдите ему хорошего адвоката.*

Кевин вышел из зала. Посмотрел в окно. Во двор подогнали автозак. Гарри поднесли к машине, затолкали внутрь. Следом за дядей в кабину нырнул охранник, тот самый, который чуть было его не пристрелил. Кевин вынул из рюкзака мобильник, набрал номер отца.

— *Ну и как там наш Гарри? Выпутался?* — засуетился отец.

— *Все нормально, не беспокойся. Скоро отпустят.*

Автозак вырулил на улицу, покатыл к городской тюрьме. Синюшные тучи заволокли небо. Начался дождь. Затяжной, осенний.

УРОК ФИЛОСОФИИ

*Пиши, — сказал, — что есть истинная радость...
Говорю тебе, что если сохраню терпение и не разгневаюсь,
вот в этом и есть истинная радость, и истинная
добродетель, и спасение души.
Франциск Ассизский*

Где хорошо, там родина. Многие опасаются за собственную репутацию, почти никто не боится своей совести. Можно поменять небо над собой, но себя не изменишь. Что есть мореход? Идущий по морю. Что такое смерть? Врагиня жизни. А солдат? Оплот империи. Вопрос — ответ. Поиграем? Поиграем! Вопрос: что такое небо? *Покрывало земли.* Копнём поглубже? Небо — голубая летучая мышь, распростершая крылья над нами. Нравится?

— Нет, не нравится. Высокопарно уж очень.

Тогда сами попробуйте.

— Небо — это зрачок океана. Небо — это голос космоса. Небо — это наша судьба.

Думайте, думайте!

— Мы не думаем, мы выдумываем.

Правильно делаете. Воображение — это путь к спасению.

Читаем законы Хаммурапи: ***Если человек бросил на человека обвинение в колдовстве и не доказал этого, то тот, на которого было брошено обвинение в колдовстве, должен пойти к Божеству Реки и в Реку погрузиться; если Река схватит его, его обвинитель сможет забрать его дом. Если же Река очистит этого человека и он останется невредим, тогда тот, кто бросил на него обвинение в колдовстве, должен быть убит, а тот, кто погрузился в Реку, может забрать дом обвинителя.***

Спрашивают:

— Это про ту реку, в которой нельзя утонуть дважды?

Шутите?

— Шутим.

Так чего же добивался Хаммурапи от своего народа?

— Чего, чего — ничего, чтобы все поголовно умели плавать.

А теперь подумайте серьезно. Что говорят нам эти законы о человеке, о том, на что человек способен?

— Не любил он людей. Думал, что все они — потенциальные стукачи-доносители.

Соображают. Молодцы ребята. Правду говорил бородастый междуреченец: стукачи-доносители, конформисты, погромщики, полицаи. Дедову невесту расстреляли в 41-м на Украине. Немцы в город войти не успели...

Они приходят ко мне на большой перемене. Жуют бутерброды, обсуждают очередное задание.

— Не убий. Не укради. Ну, это понятно. Не прелюбодействуй. С этим сложнее. Но хуже всего с «не возжелай». Это значит, что я не могу возжелать Дженни из одиннадцатого? Но я же её не это... Сижу себе тихо и желаю. Что в этом плохого? Сами говорите, что воображение — путь к спасению.

Дело вот в чем... «Не возжелай» значит «не желай для себя того, что тебе не принадлежит и твоим не будет». Была у меня начальница, мадьярка по имени Миша. Изъяснялась простейшими фразами. Проще не бывает. Жизнь — сука, — говорила она. Так вот, я повторю слова Миши: жизнь — сука. Будете пялиться на чужое, двух, трех жизней не хватит, чтобы понять, зачем живете.

— Значит, Дженни моей не будет? Спасибо, поддержали в трудную минуту.

Когда она станет твоей, ты поймешь, что она — твоя. А пока что она — ничья.

— Как это — ничья?! Она же с Патриком гуляет.

Ну, это не насовсем...

Аристотеля не любят. Отвечают вяло. Выясняется, что Аманда вообще не читала. Джон заснул, не дочитав второй страницы. Переводит вялотекущий разговор в другое русло.

— Я, — говорит Джон, — изобрел новое снотворное. Называется «Аристотин». Продается в любом книжном без рецепта. В библиотеках вообще бесплатно. Дозировка — от одной до пяти страниц. От передозы наступает летальный исход...

Постойте, говорю я, а «золотая середина»? Ведь это — стрела, пущенная из древних Афин. Стрела, упавшая к нашим ногам.

— Аристотель похож на разобранный часовой механизм. Горсть винтиков и шестеренок...

А ты возьми и собери из этих винтиков и шестеренок свои часы. Они будут показывать время. Но это будет уже *твое* время.

Полюбили Фому Аквинского. Читают вслух. Останавливаются. Переводят дыхание. **Из сказанного выше следует, что нет единого первичного начала зла в том смысле, в котором есть единое начало блага. Ибо, во-первых, единое первичное начало блага есть благо по своей сущности, как то было показано. Ничто, однако, не может быть по своей сущности злом.** Разматывают клубок хитрой мысли. Каждый отвоевывает у другого отрезок спасительной нити. Разговаривают с Аквинатом через стол. Сосредоточенная радость соучастия. Он как будто сидит с нами в коричневой сутане, поедает чизбургер с горячей жареной картошкой из школьного буфета. Раструбом рукава отирает янтарные капельки пота. Как черных рыбок, выуживает возражения оппонентов.

Практика. Ходим по коридорам, останавливаем учеников и учителей, спрашиваем: *Есть ли зло на свете и, если есть, то откуда оно такое взялось? Каковы причины зла?* Отвечают по-разному: *Жадность, зависть, деньги, республиканцы, демократы, Адам и Ева, змий-искуситель.*

Больше всего им нравится Платон, особенно аллегория пещеры в *Государстве*. Останавливаемся на лестничном пролете между вторым и третьим этажами. Опускаю жалюзи на единственном окне. Спрашиваю Джона, согласен ли он быть узником. Да, Джон не возражает. Привязываем его к перилам, так чтобы он не видел происходящего у себя за спиной. Включаю фонарик. Желтушный луч отплясывает на стене перед Джоном.

В луч фонарного света вношу одну за другой маленькие плюшевые игрушки.

— *Кто это?* — спрашиваю.

— *Это — пес, а это — медведь,* — отвечает Джон.

Потом продельваю то же самое, но уже с несколькими игрушками одновременно. Джон глядит на кентаврческие изображения, вписанные в световое пятно. Он не знает, какие игрушки я держу в руках. Пытается угадать, но ему трудно. Через некоторое время догадки иссякают. Джон молча смотрит на меняющиеся очертания. Ему уже не интересно отгадывать. Он смирился. Проходит несколько минут. Я поднимаю жалюзи, и впущенный солнечный свет очищает стену. Джона отвязывают. От полноты падающего света наступает ослепление: некоторое время Джон трет глаза. Наконец, привыкает к свету. Мы видим его лицо. Он смотрит на нас и улыбается.

ЛУИДЖИ

A: He doesn't know my name.

B: Of course he knows your name.

(из разговора, подслушанного в Бруклине)

В сентябре им раздавали имена. Ему досталось плоское имя — Луиджи. Похожее на высвист вечерней птицы или на росплеск воды, стекающей по гнущимся, стылым трубам куда-то вниз, под землю.

Он пришел домой. Открыл общую тетрадь, поставил дату. *Теперь меня зовут «птица-увязшая-в-песне» или «стянутый-трубами-плеск».* Я — звук, похороненный в жалости водопровода... На следующий день новое имя было пущено в оборот. На уроке инсеньянте обратился к нему шуточно, даже несколько развязно: *Добрый день, синьор Луиджи.* Голос инсеньянте напоминал морскую волну — то вверх (и слово удлинилось вслед за вытянутыми вперед губами), то отвесно вниз (звук почти проглатывался).

тывался и звенел где-то в утробе). Вечером он записал в тетради: *Эта речь жеманна, как женщина в сумерках.*

Луиджи сидел в самом конце класса, возле окна. Разрисованная парта: сердце, пробитое неоперенной стрелой, а рядом — то ли чья-то обрюзгшая физиономия, то ли колобок с глазами-соплями. Инсеньянте рассказал им про дремучий лес и про поэта, который не смог оттуда выбраться. Луиджи вспомнил сказку, которую мать читала ему в раннем детстве. Там тоже был лес и заплутавшие дети, брат и сестра. Птицы склевали хлебные крошки. Они остались в лесу, не отыскав дороги домой. Да и не было у них никакого дома...

На уроках Луиджи переписывал с доски. Подавляя отвращение, вместе с другими повторял за инсеньянте. Когда он отвечал на вопросы, Луиджи казалось, что его рот наполняется сладковатой кашницей. В общей тетради появилась новая запись: *Меня тошнит, когда я говорю так, как другие. Как будто в тарелку с водянистой овсянкой добавили кленового сиропа. У инсеньянте во рту точно такая же кашница. Он как птичка, которая разжевывает пищу, а потом отдает птенцам.*

В октябре они должны были подготовить слайд-шоу на заданную тему. Из бейсболки каждый тянул вчетверо сложенную бумажку с именем певца или певицы. Луиджи досталась Джильола. Джильола Чинкветти. Он пришел домой и набрал её имя в поисковике. По линкам вышел на персональный веб-сайт. Открыл первые попавшиеся странички. Прослушал несколько песен, но мелодии не запомнил и не понял слов.

Луиджи следил за её взглядом. Вот она стоит на сцене, ждет, когда заиграет оркестр. *Неочевидно, что последует за первыми роспесками музыки, песня или молчание. Она ждет росчерка дирижерской палочки, как поджидают электричку, которую, в принципе, можно и пропустить, потому что за ней придет другая.*

Джильола смотрит с платформы концертного зала на затихшую публику, как будто перед ней расписание пригородных поездов. Начинает петь. В зале хлопают. Некто невидимый вопит «браво». Луиджи подумал, что того человека, который крикнул «браво», наверное, уже нет. Джильола стоит, покачивается. Левая рука на бедре, похожая на опрокинутую арку. Свет выключили. Исчезли оркестр и подпевалы. Джильола то поднимает, то опускает правую руку, плавно так, как будто причесывает музыку. Откидывает назад густые, как море, волосы. Делает несколько легких шагов влево, потом вправо. Останавливается. Грациозно сгибает ногу, выпрастывая голень из-под длинного платья, как любовницы в старых кинолентах. Луиджи выключил компьютер, открыл тетрадь: *руки, как виноградные лозы, их всякдная гибкость и строгость. Пальцы — вытянутые виноградины, длинные, как цыганские серьги.*

Он полюбил отрывок из старого спектакля, в котором она пела и танцевала. Луиджи пересматривал эту запись по многу раз и не мог насмотреться. Она — в гимнастическом трико, обшитом разноцветными лентами. Ноги, как две нежные живые колонны. Шесть девушек ввозят её на сцену. Она встает, поводит плечами. Поет. Пролезает под повозкой и выпархивает у самой кромки сцены. Потом они пляшут. В руках у неё маленький бубен. Она — вороха разноцветных лент на обоих плечах — в центре. В глазах — разрывы острого электрического света. Жгучие волосы бьются по щекам, как змеи. Танцовщицы подпрыгивают и крутятся справа и слева, и позади неё. А в самом конце она останавливается, вскидывает правую руку с бубном и так замирает. Луиджи слышит, как там, за спиной оператора, рукоплещет зал. *Сегодня я понял, что не могу без неё жить.* Он вспомнил стихи, которые читал им инсеньянте: *пусть мои глаза превратятся в воду, сердце — в огонь, голова — в камень, туловище — в древесный ствол, только бы не приближаться к ней. А помыслы мои пусть станут птицами.*

Однажды она явилась ему во сне. Постучала в дверь, вошла в комнату, села на стул с облупленной спинкой. Затянула негромкую песню. Это была очень нежная песня. Луиджи не поверил, что Джильола обращалась именно к нему, а не к кому-то другому. Закончив песню, она исчезла. Он услышал, как хлопнулась дверь, и это разбудило его. Он проснулся и лежал в темноте с открытыми глазами.

Вернувшись домой из школы, Луиджи сразу же принялся пересматривать ролик с танцем, в котором она была застрельщицей. Он просидел перед монитором до ночи. Джильола по-прежнему была прекрасна, но теперь Луиджи увидел то, чего не замечал раньше: в самом начале песни, когда её ввозят на сцену, она чересчур крепко держится за борт повозки, как будто боится упасть, а позже, во время

танца, на мгновение сбивается с такта. *Как мало нужно, чтобы навсегда потерять воздушность, из облака превратиться в лужу.* В полночь повторился вчерашний сон. Скрипнула дверь. Она присела на край стула и спела знакомую колыбельную. Потом подошла к нему. Взяла его за руки. Её ладони были холодны. Холодны, как вода в проруби. Луиджи рывком высвободил запястья и спрятал их под одеялом. Джильола исчезла, как в прежний раз, как будто её никогда не было. Хлопнула дверь. Утром Луиджи казалось, что руки его покрылись коркой льда. Даже после горячего душа он не смог согреться.

На следующий день инсеньянте показал им отрывок из прошлогодней телепередачи: ведущая в малиновой юбке призвала людей доброй воли помочь голодающим детям Африки. Рядом с ней в телестудии сидели три улыбающихся негритенка. Луиджи узнал Джильолу. *Зачем она носит эту дурацкую малиновую юбку? Что стало с её волосами? Наверное, их две — одна юная, сладкая, стоящая на повозке, которую везут девушки, наряженные арлекинами, и другая — старое, скрипучее дерево с выеденным нутром.*

Ночью она снова пришла к нему. На этот раз петь не стала, сразу направилась к его кровати. Он увидел её лицо: две желтые горевшие точки там, где должны были быть глаза, и волосы её совсем не черные, а русые, с прозеленью. Она подошла вплотную, цепко схватила его за левое запястье и потянула за собой. Он попытался вырваться, но не смог. Он услышал, как она шепелявит, как подслащивает уговоры на своем наречии. Луиджи извивался, попытался ударить её ногой в живот. Как крыса, она уволакивала его за собой. Свободной рукой он хватался за простыню, одеяло, подушку, но белье не держало и разлеталось по комнате. Она открыла окно, и оттуда дохнуло сыростью поздней осени, лиственной прелью. Он извернулся и впился зубами в её ледяную руку. Луиджи услышал крик, ухающий крик, похожий на совиный. Она бросилась в сторону двери. От дверного хлопка он проснулся.

Луиджи лежал на полу, возле настёж открытого окна. Левое запястье болело нестерпимо. Луиджи подумал, что сейчас она вернется за ним, вцепится в волосы, выкинет его из окна. Он будет лежать на тротуаре. Ветер растреплет ему волосы. Птицы выключают глаза. Бездомные псы слижут потеки крови. А вокруг — вороха неубранной, прелой листвы...

Луиджи поднялся с пола, лег в кровать. Попытался заснуть, но сон не шел, и он прободрствовал до утра. Он ждал её появления. Но женщина больше не приходила к нему.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Алисон, с истовой верой в чудо

Утром, на излете сна, голос узнаваем, как в раннем детстве, когда слово ничего не значило, кроме человека, который его произносит. Это мать кричит из кухни: *Вставай. Ну, вставай же, сонное царство.* Мгновение окончательного пробуждения, переход в бодрствование, в ледяную воду сознания. Она открывает глаза. В спальне тесно от нахлынувшего сентябрьского света. Тесно и зябко. По оконному стеклу ползет муха. Недоверчиво ощупывает гладкую поверхность: свет не может быть таким ярким и непроницаемым. Взлетает. Разгоняется. Бьется об стекло. Продолжает упорствовать.

В ванной умывается брат. Медленное падение воды в раковину. Он чистит зубы, ополаскивает лицо, причесывается. Почему он всегда проводит столько времени в ванной? Как Нарцисс, прикованный к своему отражению. Поток воды прерывается. Она слышит шелест ворошимых волос. Не такие уж они у него густые. Она проводит ладонью по своим волосам. Отгоняет грустные мысли, ныряет поглубже под одеяло. Расправляет складки и снова прислушивается.

Квартира наполняется знакомыми запахами. Из кухни пахнет гренками. Мать вымачивает хлебную мякоть в яичном желтке. На сковородке обжаренный хлеб обрастает желтой корочкой. Мать расставляет тарелки. Сыплет корицы на братнины гренки. Она не любит с корицей. К гренкам почти не прикасается, к мягкому, как губка, промасленному хлебу в яичных потеках. По утрам она варит себе геркулес, добавляет чайную ложечку кленового сиропа и немного толченых орешков. На серебряной ложечке почти стерлась гравировка: *Алисе, моей трехлетней крохе.*

Она лежит на спине, плотно укрывшись одеялом. Неподвижная. Воображает, что она — египетская мумия. Днем — под шерстяным одеялом, а ночью катается на лодке, с черными кошками. Кошки лаస్తятся к ногам и мячуют. На корме волк отталкивается шестом от речного дна. Мать кричит из кухни: *Ты едешь с нами?* Она выпрастывает руки, потягивается, устраивается поудобнее. *Нет, я остаюсь дома.* Мать сердится: *Нет, давай уж с нами. Он обижается, когда к нему не приходят...*

Она вспомнила прошлое посещение. Дед сидит в коляске возле окна. Просит: *отвези меня к заливу.* Она кивает, подталкивает коляску в сторону лифта. Вот сиделка выпорхнула. *Хэллоу, хэллоу, ты только посмотри, кто к нам пожаловал. Дочка, что ли, твоя? Не, внучка,* — улыбается он. Она вызывает лифт. Ввозит его в чешуйчатую, серебристую кабину. Двери закрываются. Лифт скользит, останавливается на первом этаже. Двери открываются, но не спереди, а сзади. Слишком мало места, чтобы развернуться. Она пятится, тянет коляску за собой. Потом она кормит его арбузной мякотью во дворике, под зеленым навесом. Охранники-гаитяне громко разговаривают друг с другом, через каждое слово повторяют *жуыф-жуыф*¹. Она прислушивается, но не может понять, говорят ли они о *жуыфах* плохо или хорошо. Дед говорит: *Скоро мы все станем черными, как баклажаны.* Он снова погружается в себя, зависает, как испорченный компьютер. Она продолжает кормежку. Впихивает ему в руку алые арбузные кубики. Иногда кубики выпадают из горсти, прямо на тренировочные штаны. Она расторопно подхватывает упавшую мякоть и выкидывает в помойный бак. Те кубики, которые он все же доносит до рта, наскоро проглатываются. Он кашляет, отхаркивает какую-то желтоватую дрянь. Она вытирает ему губы и подбородок стопкой бумажных салфеток. Морщится от отвращения: выделения просачиваются сквозь толщу салфеток. Потом она отвозит его на набережную. Коляска выезжает на асфальтовую дорожку. За чугунным парапетом между огромных камней пенятся волны. На одном из камней стоит человек. Он щурится на солнце и закидывает блесну подальше в воду. Сентябрь, бархатный сентябрь. Она в шортах и безрукавке.

Ужасно хочется отвезти его поскорее обратно в палату, сесть на поезд, доехать до центра, выйти в городской шум и толкотню, взять в какой-нибудь забегаловке стаканчик кофе и бутерброд с ветчиной, а потом сидеть в сквере, жевать бутерброд и разглядывать прохожих. Самое интересное занятие в жизни, глазеть на проходящих мимо — детей, взрослых, стариков... Он везет деда по дорожке, старательно огибая выбоины. Дорожка упирается в решетку, отделяющую территорию реабилитационного центра от городского пляжа. Там за оградой лежат на полотенцах люди, подставив животы увядающему сентябрьскому солнцу. Они с дедом разворачиваются и направляются обратно к корпусу. Очередной разворот возле главного входа. Она снова толкает коляску в сторону пляжа.

Он говорит ей: *Отдохни.* Тогда она останавливается возле скамейки. Он встряхивает головой, кашляет, вытирает желтую слюну тыльной стороной ладони. Просит рассказать что-нибудь. Она рассказывает первое, что придет в голову. Например, о школьных подружках: две её одноклассницы поругались, и одна до такой степени рассердилась, что взяла ножницы и срезала клок волос у другой, выудила из кармана зажигалку и сожгла срезанные волосы. А потом эту подружку затаскали по завучам, по психологам.

Дед дремлет. Она ждет, когда он очнется и запросится в корпус. Дед открывает глаза. Смотрит на неё. Он не хочет отпускать её, просит сделать ещё два-три круга по набережной. Несмотря на тепло, ей становится зябко. На камнях склизкое серебро сдохшей рыбы. Серебро сверкает на солнце, соскальзывает, исчезает. Она старается не смотреть на камни, на влажные отметины, оставшиеся от рыбы. На том берегу залива можно различить длинную полосу пляжа. В солнечные дни противоположный берег ближе, чем на самом деле. Обман зрения: кажется, что залив можно запросто переплыть. Отдохнуть на том берегу. Купить мороженого в павильоне, а потом снова пуститься в плавь. Парусники бороздят тихую влагу, перемещаются, как шахматные фигуры, переставляемые медленной рукой. Ей опять хочется уйти отсюда, доехать в метро до центра. А там...

Дед спрашивает: *Который час?* Она везет его в столовую, на обед. *Ты куда-нибудь торопишься?* Он просит её побыть с ним ещё немного. Она подвозит его к столу, садится рядом на пластмассовый стул.

¹ Juif (фр.) — еврей.

Они приехали чуть раньше. В столовой заканчивается концерт. Возле окна, выходящего на залив, поет женщина лет пятидесяти. Жирная коса. Губы накрашены так, что помада захватывает не только губы, но и несколько миллиметров над верхней губой. Женщина то и дело берет со стола бумажную салфетку и вытирает пот со лба. Поет для колясочников песню про влюбленных, которые танцуют в подворотне. О том, что им хорошо вместе, и что так будет всегда. Одни старики слушают песню, а другие дремлют. Песня заканчивается, женщина с жирной косой собирает аппаратуру и, не попрощавшись, уходит. Колясочники и ходячие занимают места у столов. К дедову столу подкатывает толстая старуха. Непонятно, как она вообще умещается в коляске. Старуха сразу же накидывается на неё с вопросами. Спрашивает, не знает ли она какого-то Алекса, который — то ли менеджер на Уолл-стрите, то ли владелец строительной конторы. Она отвечает, что не знает никакого Алекса. Но старуха говорит, что Алекс — это её младший сын, самый любимый, *сын старости моей*, говорит старуха. *А мой старший, старшенький служит в полиции*. Потом приносят суп, старуха берет ложку и замолкает. Не отрываясь, смотрит в тарелку. Заедает суп ломтем хлеба. Дед подхватывает суп ложкой, долго дует, проглатывает гущу. Морщится. Отодвигает тарелку. На том конце столовой другая старуха вскакивает со стула и кричит: *Бенджамин, Бенджамин!* Никто не обращает внимания. К ней подходят две санитарки и увозят её в палату.

Она смотрит на деда. Он плачет, размазывая слезы по щекам. Как ребенок. *Бенджамин, Бенджамин*, — шепчет он, — *сын старости моей*. Она говорит, что ей пора, надо делать уроки на завтра. Отвозит деда в палату. Включает ему телевизор. Целует его и уходит. Даже лифта не ждет, сбегает по лестнице и выпархивает из корпуса...

Мать на кухне свирепеет, переходит на крик. *Едешь ты с нами или нет?! — Нет*, — отвечает она, — *не поеду. Хватит с меня. Теперь вы с Джоном ежайте. Ваша очередь*. Она кутается в одеяло. Ждет, когда все уйдут. Хлопок входной двери. Тишина. Она выскальзывает из постели, быстро одевается, идет на кухню. Разогревает чайник. Делает себе какао, погуще, шоколадистой. Возвращается в комнату. Муха, пытавшаяся пронзить окно, смирилась с тем, что на улицу ей не выбраться. В комнате пахнет осенью. *Если бы у бритвенного лезвия был запах, это был бы запах осени*, думает она. Свет как будто рассекает тебя надвое, и ты уже не бабочка, не птица. Не знаешь, есть ли у тебя вообще крылья. Тополиные листья похожи на чешую дохлых рыб. Она раскрывает книгу и погружается в чтение. Главный герой сидит на камне и плачет. Соленый прибой накатывает на шелковистый, чужой песок. Вокруг шумит море, и нет ни малейшей надежды на спасение.

стихи

тюрьма в техасе

не балаклава горит на воре,
 балахон залоснился от наледи.
 поверка. — есть дженсон?
 — ну, есть.
 — не ну, а да, сэр.
 — да, сэр.
 — сегодня метешь тротуар.
 — но ветер достал.
 — разговоры...

— да, сэр...
 напляшется дженсон с метлой,
 мы и сами продрогли
 стоять на ветру —
 леденящий, разнузданный.
 — поедем на юг? — ну, поедем...
 шершавые, гнутые люди.
 какие есть сукины дети.

как сочетание отчаянья
с движением, и зелень кружится
по краю озера, удавка волглая,
темно и заживо.

как расстояние от шороха
до — оползня и обнуления,
тебя зовут сейчас, но где же ты,
дорожка лунная?

и переключивает ясени
смещение ночи, отвердение
звезды над нами... боже фосфорный,
велосипедный шлем из терния.

просыпаешься — новый год,
хмарь окрестная, шаткий слог,
хмарь от хмари дурных погод,
был бы лёд, но растаял лёд.

так, ни то и ни сё — судьба,
два-три градуса выше нуля,
выше, ниже вороний лёт...
оказался он тесноват

этот хвойный, на вырост, вдох,
этот ствольный как будто мех,
тихий дым из кривой трубы,
весь достойный своей судьбы.

рождество

тютчевский грунт сиротеет,
черный во мне вечерет.

вытаял снег возле роши,
веток случайные мощи.

книгу откроешь — рожденье
мальчика, света стяжанье,

ясли, волы, звездочеты
ёлка обложена ватой.

ходит по комнате мерно
тихая женщина в черном.

знает ли, чьими устами
пить увядание в доме,

роза в надтреснутой кадке,
муза в поломанной лодке?

обмотали голову шерстяным шарфом,
и отправили в путь воробьем катулла,
чтоб летел без возврата за тихий дон
золотых церквей... по кому звонил он?

говорят, что возле большой воды,
в тростниках вольно дышится корабелам,
но со всех сторон оказался ты
окружен своим ледовитым телом.

возвращайся оттуда, с площади нежилой,
где развозят холод слепые баржи,
о, саднящий зазор между болотной мглой
и желанием выйти на берег прежний!

мозговым прозрением отомкни
гробовую дверь залетейской стали
и наружу выпорхни, как бы ни
остывало то, что тепло вначале.

говори мне что-нибудь, говори,
успокой как следует, успокой
колокольцем серебряным до зари,
язычком серебряным за щекой,

что земля теперь расползлась как зыбь,
что козлиная не дается песнь,
в этом, милая, не виноват никто —
слева-справа сплошная топь.

подари мне сумерки, тусклый шелк
тополиных всхлипов и длинную жизнь горы.
шелести мне что-нибудь, шелести,
чтобы я не совсем умолк.

квевек

под оползнем ветра, под дождиком рваным
отрадно смотреть на взопревший брезент
павильона.

мостики разметало, и катер картавит, припаян
к вороньему мясу реки, ударяющей в бубен.

и то, что осталось от кровельных плясок
июльского ливня, хватает, конечно, на ужин
с вином из кленовой бутылки, осиновою лаской
в церковной ограде, о Боже, как дождь этот
нежен

и сладостен ветер в слепой колокольне,
начинка его из волторн и кларнетов тягучих,
где раньше саднило, там больше ни капли
не больно,
где жгло по живому, там лучше становится,
лучше.

прямызна поступка — электричка:
сел, уехал, в прошлом не жилец.
я сейчас тщедушнее, чем спичка,
властелин распаянных колец.

электричка, пьяная сестричка,
увези в паленое лито,
где польнью пахнет переключка
мертвецов, убитых ни за что.

где-нибудь на станции кандалной
выпусти, железная змея,
в сломанную жизнь, на берег дальний,
там хвостом виляет сырдарья,

и, как пелось в песне заповедной,
где про кобылицу и ковыль,
по степи несется всадник медный
и глотает лагерную пыль.

■□■

© Текст: Григорий Стариковский



Александр Стесин